

# ЭМИЛЬ ДРЕЙЦЕР



# ЧЕХОВ НА БРАЙТОН-БИЧ

*История одного поколения  
в рассказах и очерках*



## Другие книги автора

### ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

На кудыкину гору: Одесский роман

Пещера неожиданностей (сборник рассказов)

Потерялся мальчик: Рассказы совсем не детские

*Farewell, Mama Odessa: A Novel*

*The Supervisor of the Sea and Other Stories*

*Wesele w Brighton Beach i Inne Opowiadania* (на польском)

### ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ И НАУЧНАЯ ПРОЗА

Кто ты такой: Одесса 1945–53 гг.: Роман-воспоминание

*Shush! Growing up Jewish under Stalin: A Memoir*

*Techniques of Satire: The Case of Saltykov-Shchedrin*

*Taking Penguins to the Movies: Ethnic Humor in Russia*

*Making War, Not Love: Gender and Sexuality in Russian Humor*

*Stalin's Romeo Spy: The Remarkable Rise and Fall*

*of the KGB's Most Daring Operative*

*In the Jaws of the Crocodile: A Soviet Memoir*

*Laughing All the Way to Freedom: Americanization*

*of a Russian Émigré*

### АНТОЛОГИИ

Недозволенный смех. *Forbidden Laughter:*

*Soviet Underground Jokes* (на русском и английском)

Русские поэты XIX века: Антология для студентов

Русские поэты XX века: Антология для студентов

Ричард Пайпс, известный американский историк и советолог, в середине 1950-х писал, что Советский Союз представлял собой «закрытый для иностранцев мир. Нам было куда легче представить себе жизнь в средневековой Европе, чем в современной России». В какой-то степени об этом можно говорить и сегодня. Книга Эмиля Дрейцера помогает заглянуть в тот мир, «закрытый» не только для иностранцев. Читатель с советским прошлым тоже узнает много об авторе, о его героях и о его времени.

— **Геннадий Эстрайх**, профессор,  
*Нью-йоркский университет*

Книга Эмиля Дрейцера — литературный плод полувековых наблюдений автора за процессом адаптации в новых условиях существования людей, волею судьбы сменивших среду обитания в СССР на неизведанную в США. Книга имеет ярко выраженный познавательный характер и содержит точное и тонкое художественное описание формирования нового мировоззрения, бытия и быта, постижения психологии нового мира, приобретения нового жизненного опыта, внутренних метаний и духовных противоречий.

В книге находят своё отражение не только индивидуальные судьбы иммигрантов из СССР, но также и представления об общности социальных и психологических проблем, присущих иммиграции в целом, независимо от страны исхода.

Несмотря на всю серьёзность темы эмиграции, проза Эмиля Дрейцера отличается ярким языком, юмором и иронией, философским взглядом на проблемы иммиграции. Читала с большим интересом, удовольствием и благодарностью автору.

— **Др. Наталия Тимофеева**,  
*МГУ им. Ломоносова*

ЭМИЛЬ ДРЕЙЦЕР

ЧЕХОВ  
НА БРАЙТОН-БИЧ

*История одного поколения в рассказах и очерках*

Предисловие Семёна Резника

БОСТОН · 2025 · BOSTON

**Эмиль Дрейцер** Чехов на Брайтон-Бич  
*История одного поколения в рассказах и очерках*

**EMIL DRAITSER** Chekhov in Brighton Beach  
*History of One Generation in Short Stories and Essays*

Copyright © 2024 by E. Draitser

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from the copyright holder, except for the brief passages quoted for review.

ISBN 978-1-960533579

Published by M•GRAPHICS | BOSTON, MA

 [www.mgraphics-books.com](http://www.mgraphics-books.com)

 [mgraphics.books@gmail.com](mailto:mgraphics.books@gmail.com)

Подготовка к печати и макет: M•GRAPHICS © 2024

Дизайн обложки: Лариса Студинская © 2024

Фотографии в книге: Э. Дрейцер

Printed in the U.S.A.

*Автор выражает благодарность Оскару Дегтярю  
за помощь в подготовке книги к публикации*

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Семён Резник. Предисловие</i>	11
От автора	15
<b>I</b>	
Солёная вода	17
Отцы на войне	45
Элеонора Рузвельт тут ни при чём	53
Стрела, пронзившая горло	59
Облака	69
<b>II</b>	
Чёрным по белому	85
Революционный этюд	93
В Москву, в Центральную прачечную	98
Теперь ты знаешь	110
Свои и чужие	125
Однажды на Пасху	138
Случайно найденная записка	148
Что есть еврей	151
Комар в янтаре	160
<b>III</b>	
Перед прыжком в пропасть	167
Эмигрантский «Декамерон»	183
Дар матери	194
Дворкин	200
Свадьба в Маленькой Одессе	216
Пророк	230
Чехов на Брайтон-Бич	250
Свист абрикосовой косточки	266
Неотправленное письмо	288
Пассовер	301
<i>Приложение:</i>	
«Дама с собачкой: Апокриф»	321
Об авторе	329



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Москва. Лектор с трибуны:

— Дорогие товарищи, разрешите вас заверить, что не сегодня-завтра наступит день, когда будет завершено построение коммунизма в нашей стране. Вопросы есть?

Поднимается одна рука:

— Скажите, пожалуйста, а когда в магазинах снова появится вологодское масло?

Лектор:

— О, это всё временные перебои в снабжении...

Тот же голос:

— А когда можно ожидать докторскую колбасу?

— О, это проблема тоже решится в рабочем порядке...Ещё есть вопросы?

— А туалетная бумага?

— Товарищ, встаньте. Как ваша фамилия?

— Шапиро.

— Что-то вы, товарищ Шапиро, задаёте провокационные вопросы. Не родственник ли Вы печально известного на Западе Леонарда Шапиро, который написал насквозь лживую «Историю КПСС»?

— О, что вы, что вы, товарищ лектор!.. Знать я не знаю того Шапиро!...Между нами нет ничегошеньки общего... Два мира — два Шапиро!

*Советский анекдот*

### ДВА МИРА — ОДИН ШАПИРО

Леонид Эпштейн (теперь уже, к сожалению, его нет) был первым из круга моих близких друзей, кто решил эмигрировать. Это был 1976 год.

На мой вопрос «Почему?» последовал ответ:

— Понимаешь, старик, я дорос до потолка. Я заместитель ответственного секретаря (он работал в редакции журнала «Энергетическое строительство») и ответственным секретарём никогда не стану.

Меня поразило такое объяснение, тем более что я никогда не замечал в нём карьеристских наклонностей:

— И поэтому ты уезжаешь?..

— А что! Хороший способ помолодеть. Всё сначала!

Лёня по характеру был лёгким человеком, ему относительно просто давались судьбоносные решения.

Затруднения с повышением по службе из-за пятого пункта мне казались пустяшной мелочью. Я полагал положение евреев в СССР куда более серьёзным: был если не уверен, то считал вполне вероятным, что нас будут вешать на столбах. Для этого у меня были веские основания.

Проработав более десяти лет в редакции серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ), я должен был уйти после того, как её главой назначили Сергея Семанова, который стал переводить книжную продукцию на рельсы национал-патриотизма. В основе его воззрений была смесь сталинизма и монархизма, а, проще говоря, русский нацизм. Суть доктрины сводилась к тому, что власть и народ в России всегда едины, а во всех её бедах виноваты евреи. У Семанова было много влиятельных единомышленников. Их поддерживали в ЦК партии и в ЦК комсомола, они захватывали всё более высокие посты и уверенно шли к верховной власти — на смену дряхлевшим и один за другим умиравшим Кремлёвским старцам.

Тем не менее, выезд из страны для меня тогда был невыносим. Когда мы с женой дозрели до понимания, что «выхода нет, а есть исход», эмигрировать было уже почти невозможно. После вторжения «ограниченного контингента» советских войск в Афганистан резко обострились отношения Кремля с Западом; власти ещё сильнее стали закручивать гайки, выезд евреев из страны пошёл круто вниз, даже подать заявление в ОВИР стало почти невозможно, так как почтовая служба получила негласное указание — перекрыть доставку вызовов из Израиля.

Здесь не место писать о чудесах, благодаря которым нам всё-таки удалось получить вызов, а затем разрешение на выезд вместо ожидавшегося отказа. В 1982-м, из Рима, где мы дожидались въездных виз в США, я написал Лене Эпштейну: «Лёня, ты на шесть лет умнее меня».

До эмиграции мы с Эмилем не знали друг друга, но судьбы наши оказались поразительно схожими, хотя я родился в Москве, а он коренной одессит. Мы с ним почти ровесники, оба были малыми

детьми, когда разразилась война; оба уцелели, потому что родители вывезли нас в эвакуацию (его в Среднюю Азию, меня сперва в Астрахань, потом на Урал); оба в неласковые послевоенные годы были школьниками; оба с молодых лет мечтали о литературе; оба не отважились поступать на филфак, так как знали, что евреев туда не берут; оба окончили технические вузы и затем работали инженерами; оба распрощались с «работой по специальности» и стали-таки профессиональными литераторами.

У Эмиля с молодости проявился талант юмориста и сатирика. Этому, вероятно, способствовало то, что он вырос в весёлой и жизнерадостной Одессе, которая во всякие, даже самые мрачные времена питала своим особым смехачеством всю необъятную Россию. Эмиль Дрейцер, скажу забегая вперёд, сумел и Америку порадовать неповторимым одесским юмором.

Когда Эмиль приехал в Америку, ему было 37 лет. Я приехал в 44 года. Это главное, что нас различает. Ему было на семь лет легче вживаться в Америку. Он поступил в аспирантуру Калифорнийского университета, получил степень мастера, а затем и гроссмейстера (магистра и доктора наук). Стал профессором, воспитал два-три поколения учеников, написал и издал на английском ряд книг — как строго исследовательских, так и художественных, насыщенных одесским юмором, ставших открытием для англоязычных читателей, которые даже не подозревали, что русские тоже умеют смеяться.

Говоря о том, что основное различие между Эмилем и мною в том, что он приехал в Америку более молодым, я слегка лукавлю. 37 лет — это тоже возраст не мальчика. Не 27 и не 17. Чтобы начать всё сначала, требовалось немало мужества, настойчивости, упорства. У Эмиля всего этого оказалось в избытке. Это позволило ему стать американским учёным и англоязычным писателем, но не помешало оставаться и русскоязычным.

Эмиль Дрейцер прекрасно знает американскую русско-еврейскую community. Об этом свидетельствуют его книги. Две из них лежат сейчас передо мною: «Пещера неожиданностей» 1984 года издания и «На кудыкину гору» 2012-го.

В книге «Чехов на Брайтон-Бич» собраны под одну обложку рассказы и очерки моего и Эмиля поколения, которое детьми пережило войну с Германией, время послевоенного свирепого сталинизма — кампании против «безродных космополитов», печально известного «Дела врачей» и после-сталинской дискриминации так

называемых «лиц еврейской национальности» при получении образования и приёме на работу.

В книге также отражены душевные перипетии этого поколения, связанные с принятием судьбоносного решения покинуть страну, бывшую ему не матерью, а мачехой из известной сказки о Золушке. Вторая половина книги посвящена жизни в эмиграции, нелёгкому делу адаптации в стране, основанной на других культурных принципах. Книга о том, как непросто еврею вывезти себя из России, и о том, насколько сложнее или вообще невозможно ему вытеснить Россию из себя. На Брайтон-Бич Чехов остаётся Чеховым, а читатель, который был его почитателем в Одессе, Москве или, допустим, в Воронеже, остаётся его почитателем и на Брайтон Бич.

Два мира — один Шапиро.

*Семён Резник, Вашингтон  
Май 2024 г.*

## ОТ АВТОРА

Как мне представляется, название книги в капсульной форме даёт знать, что предлагаемый сборник рассказов и очерков — это история поколения бывших советских граждан, выросших в русской культуре, в которой имя Чехова знаково, и в поздне-советский период эмигрировавших в Америку. Рассказы и очерки, вошедшие в книгу, впервые появились на русском языке в журналах «Литературное обозрение» (Москва), в нью-йоркских журналах «Слово», «Новый журнал», «Времена» и газете «Новое русское слово», а также в журналах «Вестник» и «Чайка» (Балтимор), в лос-анджелесских альманахе *Сталкер* и газете «Панорама», а также в сетевом сайте «Семь искусств» и «Заметки по еврейской истории», газете «Шалом» (Чикаго) и журнале *Мишпоха* (Витебск).

В переводе на английский рассказы и очерки, вошедшие в книгу, были опубликованы в печатных и интернетных журналах *Bewildering Stories*, *World Literature Today*, *Nimrud International Journal*, *East-West Literary Forum*, *The Kenyon Review*, *International Quarterly*, в сборнике *Transaction: Fiction and Poetry from The Banff Centre for the Arts* и в качестве глав в моих автобиографических книгах *Shush! Growing up Jewish under Stalin: A Memoir*; *In the Jaws of the Crocodile: A Soviet Memoir* и *Farewell, Mama Odessa: A Novel*.

Часть рассказов и очерков в переводе на польский опубликована в журналах *Midrasz* (Варшава), *Kultura Enter* (Lublin) и вошла в сборник рассказов автора под названием *Wesele v Braiton Beach*.

Несколько слов о приложении. Хотя тематически «Дама с собачкой: Апокриф» не является частью истории этого поколения, иронический характер вещи, написанной в эмиграции, сигнализирует новое, изменившееся отношение к классике русской литературы. Впервые рассказ появился в после-перестроечное время в московском журнале «Столица» и в английском переводе в американском журнале *The Satirist*.

## СОЛЁНАЯ ВОДА

*Когда разразилась война с Германией, Сталин проявил особую заботу о евреях. Предпринял все меры, чтобы спасти от нацистов, организовав плановую эвакуацию советских евреев в глубину страны, на Урал и Среднюю Азию.*

Американский миф

### 1

**К**рик женщин, пронзительный, будто при родах, пронёсся по всему Шурабу, кишлаку, приткнувшемуся к склону Туркестанского хребта:

— Дети!.. Где дети!.. Боже мой, куда девались дети!

Вернувшись со смены — кто с шахты, где орудовали кайлами, выскобливая бурый уголь, кто с завода, где отливали «чуни», калоши для солдатских валенок, едва отряхнув у дверей барака грязь с резиновых сапог: был сезон весенних ливней, женщины собрались, было обнять своих детей, но те исчезли.

Это было уже слишком. Пережить огромную радость и вслед за тем такое несчастье, как пропажа детей, не в силах ни одно человеческое сердце, тем более материнское. Ещё бы! Всю войну берегли, спасали сначала от бомб, потом уже здесь, в Северном Таджикистане, от голода и болезней, и враз потерять?..

Только вчера, рано утром, по радио объявили, наконец-то, чего ждали долго, страстно, с великим терпением и великой надеждой.

— Внимание!.. Говорит Москва!.. Работают все радиостанции Советского Союза, — раздался голос Левитана, величаво-торжественный, с жуткими, мороз по коже, паузами. «Чего за душу тянешь! — так и хотелось крикнуть диктору в чёрную тарелку репродуктора, висевшего у входа в барак, — говори быстрее!»

— Сегодня в Берлине... представителями немецкого командования... подписан акт... о безоговорочной капитуляции Германии!

Все в посёлке сошли с ума от счастья. Принялись обнимать друг друга. Целовать. Новость-то какая! Наконец-то! Ждали её целых три года десять месяцев и тринадцать дней. Победа! Конец проклятой войне! Конец! Вынесли из барачных отсеков столы в коридор, сдвинули вместе, достали, что у кого было припасено на чёрный день, устроили беженский пир горой. Пили все, что ни попадало под руку — виноградную настойку, «тройной» одеколон... Пели песни, одну за другой, перескакивая с куплета на куплет:

Города, конечно, есть везде.  
Каждый город чем-нибудь известен.  
Но, поверьте, не найти нигде,  
Как моя красавица Одесса.  
Ах, Одесса, жемчужина у моря!  
Ах, Одесса, ты знала много горя!

Выбор песен не был случаен. Большинство беженцев в Шурабе были беженцами из славного черноморского города. Первая же мысль, которая всеми овладела при вести о победе, была — домой! В Одессу! Кто-то вспомнил, что в горах попадался камень-ракушечник. Значит, когда-то, в мезозойские, быть может, времена, здесь тоже было море. Вон и самое место — Шураб — по-таджикски «солёная вода»...

Но как можно произносить «Шураб» и «Одесса» на одном дыхании! Далеко, за горными хребтами, за морями, пустынями и реками, остался родной, тёплый, открытый морю город. «Домой! — раздался среди беженцев клич». Помнили: Одессу начали бомбить в первые же дни вторжения. Знали, что их ждут развалины. Ну и что! То ведь родные развалины... Зато они будут дома! Дома, где и воздух — не чужой, к которому так и не смогли привыкнуть за три с половиной года: летом — отдающий дымом костров, глиной и соломой, зимой — сырой и промозглый, когда с горных вершин сыплется снежная пороша, а свой, родной — влажный, морской, пропитанный йодом водорослей и смешанный с горчинкой полыни, которой обросли прибрежные обрывы. Вспоминали свои дома, будто это были сказочные замки, а не обыкновенные одесские дома, с длинными деревянными балконами, выходящими во двор, с лозами дикого винограда, расплзшегося по стенам...

С мыслями об оставленных домах, об улицах родного города, которые снова скоро увидят, и возвращались со смены в бараки. Возвращались, всё ещё опьянённые величайшей новостью — победа! Даже у пленных немцев, что работали рядом с женщинами и в шахте, и на заводе, и у тех растянулись в подобие улыбки бледные лица. Небось, тоже замечтались о своих домах.

Тут и обнаружилось, что пропали дети. Как всегда бывает в первые минуты несчастья, имело место преувеличение. Из бараков исчезли не все дети, а только пятеро, и все мальчики, в возрасте от шести до восьми лет. Ещё вчера они бегали в возбуждении по бараку, орали, вторя взрослым, во весь голос от радости. Вскakiвали на нары и прыгали на них, что раньше строго запрещалось. Да и как было не скакать!.. Ещё утром, как обычно, наскоро накормив чаем с бутербродами, оставили играть у бараков.

Ринулись в посёлок. Пробежали по все улочкам. Заглянули во все укромные места. Кинулись к холму на окраине. Не бродят ли там, как бывало, вдоль железнодорожной ветки, подбирают сколки угля, ссыпанного с платформ?

Но ни одного из пятерых не нашли. Куда они могли запропасться? Посёлок небольшой... Может, не дай Бог, змея укусила? Или скорпион? Но не всех же пятерых сразу...

Потом мелькнула жуткая мысль — украли! Около года назад какие-то дикие люди с гор пытались было похитить одного мальчишку. Насилу отбили...

Уже вечер наваливался на кишлак, уже со стороны горной гряды стал доноситься ароматный запах быстро всходящих по весне диких трав, а мальчиков всё не было. Над вершиной горы стусилось огромное облако. Была пора весенних циклонов. Если мальчики под открытым небом, им грозит беда. Промокнут до костей, продует ветер, простудятся.

Матери кинулись к начальнику шахты. Стали трясти его деревянную контору в ярости, грозя разнести в щепья. Начальник уже крутил ручку телефона, связываясь с генералом, директором «чунного» завода.

## 2

Тем временем мальчики плыли между небом и землёй, замерев сердцем в ожидании — они скоро увидят отцов. Теперь, когда войне конец, те вернутся из проклятой Германии, заберут их домой.



Но Германия — где-то там, далеко, за кромкой гор. Когда они спрашивал мам, где воюет их папы, они всегда указывали в сторону солнца, когда оно заваливалось за горизонт. Там!

Там — это очень далеко. Отцам придётся много километров протопать. Хорошо бы их встретить на полпути. Быстро сговорились — при первой возможности рвануть из посёлка отцам навстречу.

Но как? Тут и смекнул старший из них, восьмилетний Фима Ингерман, как помочь делу. Накануне в посёлок пришёл караван из девяти верблюдов и остановился на ночь у чайханы. Один за другим, подогнув ноги, верблюды тяжело осели на землю, замотали головами, зашевелили губами. Рано утром, как только мамы ушли на работу, мальчики побежали к чайхане. Пока, расстегнув на груди ватные халаты, погонщики верблюдов завтракали, пили чай из пиал и кромсали крепкими зубами колбасу, беглецы забрались в объёмистые и крепкие перемётные сумы — «курджумы». Выбрали те, где были фляги с водой и лепёшки, чтоб было чем подкрепиться в дороге.

Весна. Погода в горах часто меняется. То солнце начнёт вдруг падить по-летнему, то задуют южные ветры, то хлынет ливень. Караван идёт по ущелью. В сумках затаились, стараясь не шевельнуться, чтоб не выдать себя, мальчишки. Они запаслись терпением. Теперь уж недолго. Вот только караван перевалит через горную гряду на горизонте, они и встретятся с отцами...

Через час, когда, судя по тому, что верблюды замедлили шаг, караван стал подниматься к перевалу, жажнуло холодным ветром. Видимо, уже начали сползать снеговые шапки с вершин. Зачинщик Фима прижался к тёплому верблюжьему боку. Он думает только об одном: как встретит отца. О чём станет рассказывать сразу, а что прибережёт на потом?

Его клонит ко сну. Всю ночь перед побегом он плохо спал, возбуждённый ожиданием предстоящей встречи. Мыслей накопилось так много, что они стали путаться в голове. Главное, что он скажет отцу — что его наказ выполнил. На прощание, когда уходил на войну, тот поднял Фиму на вытянутых руках, сказал: «Ну, держись, сынок! Не подкачай! Будь мужчиной!».

Опустил на землю и ушёл. Ни разу не оглянулся. Соседи кругом шептали: «Вот до чего, значит, плохи дела. Дураков на фронт берут». Вспоминая это, Фима удивился: чего они такое говорили? Да, незадолго до этого случилось несчастье — отец работал на стройке столяром и случайно упал со стропил второго этажа. Лежал дол-

го в больнице. Когда началась война, мама всё говорила, что его не возьмут в армию из-за сотрясения мозга. С того дня, когда он вернулся с лечения, отец несколько не изменился. Только говорил очень мало. «Да», «нет». Не больше того. С работы приходил всегда хоть с усталым, но улыбающимся лицом. Молча протягивал маме букетики ромашек, которые срывал по дороге. Её глаза светлели, она краснела от радости, суежилась, бегала в коридор, где стоял их старый коптящий грец, керосиновый нагревательный прибор, накрывала на стол. Они были счастливая семья.

Фима ясно представлял себе, как встретит отца. Он будет стоять на одном их холмов, и грудь его будет сверкать на солнце орденами и медалями. Заслонившись от солнца рукой, он будет высматривать его. Увидев отца, Фима побежит ему навстречу. Тот подхватит его на бегу, подбросит в воздух, да так, что, как на высоких качелях, перехватит дыхание и сердце замрёт от страха и счастья...

Потом они с отцом сядут в сторонку, и Фима станет без всякой утайки рассказывать обо всём по порядку, о всем-всем, что было, пока он воевал. А было всего так много! Понадобится много дней, чтобы все-все рассказать. Ну, ничего. Времени у них теперь будет сколько угодно. Война кончилась нашей победой. А то как же! По-другому и быть не могло!

*Верблюд шагает мерным шагом. Как Фима ни старается держать глаза открытыми, они сами собой закрываются. Ему снятся сны, обыкновенные мальчишеские сны, когда не ходишь по земле, а, легко оттолкнувшись, прыгаешь-летишь так далеко и долго, как хочется. Сны входят в воспоминания, а те, извернувшись, вдруг оказываются снами. Кто тут разберёт!*

Сначала он расскажет отцу о том, как добирался с мамой из Одессы в Шураб. Было много чего по дороге, о чём стоит рассказать. Иногда, правда, было страшно. Этого он отцу, пожалуй, говорить не станет. Ещё пристыдит. Что за мужчина, которому страшно? Фима вспомнил, как в кино пели знаменитую песню:

Ты одессит, Мишка, а это значит  
Что не страшны тебе ни горе, ни беда.  
Ведь ты моряк, Мишка! Моряк не плачет  
И не теряет бодрость духа никогда.

Вот он вырастет и тоже станет моряком. Таким, как одессит Мишка. Он уже давно решил для себя, что начнёт вырабатывать в себе мужество. Да, было много раз страшно, признается он себе, зато интересно!

Всё, что он намеревается рассказать отцу, он сначала заново прокручивает в своей голове, видит перед собой так же ясно, как будто это кино на простыне, растянутой на стене барака. Раз в месяц, летним вечером, в Шураб приезжала передвижка, и тогда был праздник... Картины были всё больше про войну: «Жди меня». «Сердца четырёх». «Небесный тихоход». А «Двух бойцов» показывали даже много раз: в Шурабе было много одесситов. Фима, кажется, никогда так не тосковал по отцу, когда слышал песню, которую в этой фильме пел Марк Бернес. «Тёмная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звёзды мерцают».

Эта песня особенно волновала его, быть может, потому, что он запомнил одну ночь в степи в своей собственной жизни. Когда отец ушёл на фронт, через несколько дней они с мамой в толпе других людей несколько дней и ночей бежали по степной дороге. Куда точно — он не знал. «На Люстдорф», — сказал кто-то в толпе. «Да что, Люстдорф! Слишком близко. Добраться хотя бы до Херсона», — отозвался другой голос. «Немец до Херсона в миг доскачет», — сказал уверенно старик с длинной полуседой бородой и котомкой за плечами, шедший рядом с ним и мамой. «В Крым надо двигать. Там он нас ещё нескоро достанет».

Что такое Люстдорф, Фима знал. Так назывался пляж, куда он до войны с мамой и папой ехал долго-долго на трамвае. Там было много песка. Играть с ним было намного интереснее, чем на городском пляже, в Аркадии. Если рыть и рыть, то можно такую яму вырыть, что в неё можно было лечь и засыпать себя так, что снаружи останется только голова да руки. И все останавливаются и дивятся, как это он так умудрился себя закопать...

Они шли и шли по степи. Под мышкой у мамы была подушка и сковородка. Они не вместились в чемодан, который она тащила в другой руке. Фима трусил рядом в сандалиях на босу ногу. К концу дня пряжка на одной из них оторвалась, и сандалия стала то и дело соскакивать с ноги. Со словами «Горе ты моё!» мама оторвала ленту с подола своего платья и подвязала сандалию.

В первый день время от времени над головой проносились с жужжанием самолёты с черно-белыми крестами на крыльях.

Тогда раздавался чей-нибудь крик: «Ложись!». И все бросались на землю.

Потом самолёты больше не прилетали. Пыль стояла высоко над землёй, набивалась в горло. Солнце пекло затылок так, будто к нему поднесли электрическую лампочку. Он едва терпел боль, ёжился оттого, что пот стекал за воротник рубашки, щипал кожу на спине. Воротник вскоре стал заскорузлым и стал натирать шею. Мама снова остановилась, отпорола рукав своего платья, смастерила косынку и обвязала его голову. Он хныкал, рвал косынку с головы: что он, девчонка?

Больше всего донимала жажда. Вода, вся, что мама взяла с собой, давно кончилась. Другой взять было неоткуда. Потерпи, сынок, потерпи, говорила мама пересохшими губами. Фима терпел и терпел, пока старик, тот самый, который сказал про Крым, не достал из котомки флягу и дал ему немного воды. Потом им повезло: прошёл короткий, сильный дождь. На дороге то и дело стали попадаться лужи. Мама наполнила свою бутылку. Когда Фима в очередной раз просил попить, приходилось останавливаться. Мама ставила бутылку на землю, давала мути отстояться. Потом доставала одну из трёх серебряных чайных ложечек, которые она впопыхах бросила в чемодан, когда они уходили из дома, и осторожно, каплю за каплей, чтобы не замутить воду, поила Фиму, как будто то была не обыкновенная вода, а микстура от кашля. Фима морщился. «Пей, пей, сынок», — говорила она, — «Это ничего, ничего... Серебро очищает воду».

В другой раз мама отбегала от дороги в заросли кукурузы и приносила несколько неспелых початков. Они их жевали на ходу. Из зёрнышек можно было высосать влагу.

Жара не переставала, и поэтому старались больше идти ночью. Все боялись сбиться с курса, но старик с котомкой знал ход по звёздам. Если небо затягивало облаками, прислушивались к шуму волн. Пока море где-то справа от них, значит, двигаются правильно — в Крым.

Шли, пока не сваливались в высокой траве или в кукурузнике. Однажды утром Фима проснулся оттого, что что-то холодное капнуло на щеку. Он открыл глаза. Небо было чистым. Мама тоже проснулась. Сказала радостно: Роса! И стала облизывать длинные жёсткие кукурузные листья... Протянула один Фиме: «Осторожно, не порежь губы». Фима был разочарован: влаги было мало, так, язык смочить.

Но следующим утром так хотелось пить, что, едва проснувшись, он стал искать бусинки воды на листьях. Он тут же отпрянул: прямо над ним стояло какое-то чудище, покрытое белыми перьями, с маленькой головой и длинным острым клювом. Оно глядело на него то левым глазом, то правым, как бы спрашивая, откуда взялось странное существо с тряпкой на голове. Фима хотел было закричать, но стиснул зубы и дёрнул маму за рукав. Чудище тут же поднялось в небо. Мама проснулась и сказала: «О, цапля!» То была обыкновенная цапля, которую он никогда до этого не видел живьём, разве что на картинке в книжке.

Он не успел совсем прийти в себя, как вокруг закричали: «Десант! Впереди десант! Парашютисты!» Он не понял, ни что такое «десант», ни кто такие «парашютисты», но все повернули обратно и с удвоенной силой, многие рыдая в голос, побежали назад, в сторону Одессы.

*Что-то быстро прощурило внизу, под ногами верблюда. Фима прислушивается. Неужели змея? Затем успокаивается. Это ветер стелется по земле, тянет песок...*

Они с мамой возвращались домой, прижимаясь к домам. Что если немцы уже в городе? Готеню, Готеню, шептала мама. Фима уже знал, что она обращается таким образом к Богу. Они подошли к своему дому. Тяжёлые чугунные ворота, ведущие во двор, исчезли. Пробрались во двор, перешагивая через камни снесённого бомбой фасада. Но внутренний флигель тоже не уцелел. Их комната на втором этаже оказалась внизу и была до подоконника завалена раскрошенным ракушечником. Но жёлтый абажур на настенной лампочке был цел, часы-ходики на стене по-прежнему тикали, как будто никаких бомб и не бывало. Фима хотел было пролезть и достать их, но мама тянула его за руку: «Пойдём, сына, пойдём!».

Они заспешили в центр города. Там, на Ланжероновской, недалеко от порта, в полуподвальной квартире, в двух маленьких комнатах жила мамина сестра, тётя Поля с мужем, дядей Пиней, и сыном Изей, который в первый же день, когда объявили войну, ушёл на фронт добровольцем. Дядя был уже старый. Ему было целых пятьдесят два года. Но он был большим и сильным, разве что хромал немного. Мама сказала, что у него одна нога короче другой с детства, таким родился. Фима сразу почувствовал себя рядом с ним спокойней, под защитой.

Они переночевали у тёти Поли и на следующее утро все вместе заторопились туда, куда шли другие люди с сумками, узлами, а некоторые и с портфелями — в порт. Там у причала стоял огромный белый пароход с чёрной трубой. Они ещё были далеко от него, как вдруг пароход загудел, и все побежали к нему. Многие спотыкались, иные падали. Фима тоже чуть не упал, но дядя Пиня подхватил его, посадил на плечо, закричал: «Держись покрепче!». В одной руке у дяди был чемодан с вещами, в другой — ящик с инструментами. Дядя Пиня, как и папа, был столяром-краснодеревщиком. Без гвоздей, одним топориком, мог смастерить какую хочешь мебель.

Пароход Фима видел не раз, но только издали, с Приморского бульвара, где иногда гулял с папой и мамой. Сейчас, взобравшись на него, вдруг подумал, что пароход — живой. От трюма до палубы он весь дрожал в нетерпении поскорей уйти в море, подальше от рычащих в небе немецких бомбардировщиков.

Каюты парохода были забиты до отказа. Не успели они устроиться на палубе и пароход отчалить, как со стороны обрыва, словно дикая птица, размахнув во всю ширь огромные крылья, к ним ринулся самолёт. Фима закинул голову, глядя, как тот планирует, будто собирается сесть прямо на палубу. Дядя Пиня сгрёб Фиму в охапку и бросился к люку, ведущему в трюм.

Скрыться они не успели. Из самолёта выпала какая-то круглая банка, со свистом ринулась вниз и, не долетев до палубы, пшикнула. Что-то больно ущипнуло Фимину ногу. Он не успел вскрикнуть, как дядя уже втащил его в коридор.

— Вот гады! — сказал дядя сквозь зубы. — Шрапнель пускают! Что же, они не видят, что дети...

Мама принялась ощупывать Фиму. По ноге вниз струилось что-то тёплое. Она закричала так, что дядя тут же бросился к ним. В два счёта они стянули с Фимы штанишки. Дядя выдернул из ноги повыше колени маленький железный кусочек. Подбежал кто-то из пассажиров. В руках у дяди оказалась бутылка с какой-то резко пахнущей жидкостью. Он плеснул её на ранку. Фиму обожгла боль. Он сжал зубы, чтобы ни за что не заплакать, как полагается настоящему мужчине. Но в уголках губ откуда-то взялась солёная влага. Мама обняла его. В коридоре было тепло, и вскоре он уснул.

*Верблюд вдруг остановился, словно в раздумье. Фима замер, прислушиваясь. Только чтоб его и других мальчишек не обнаружили раньше времени! Но раздался крик погонщика, и верблюд снова двинулся в путь.*

Тогда, на пароходе, он проснулся оттого, что не хватало воздуха. Весь коридор, от одного края до другого, был заполнен пассажирами. Дядя высунулся из люка: «Можно выходить».

Они перебрались на палубу. Пароход то опускался, то вздымался на огромных волнах. Они уже были в открытом море. Задудло сразу со всех сторон. Солёные брызги стали оседать на лицах. Дядя поднатужился и приподнял край лодки, лежащей вверх дном. Велел Фиме забраться под неё. Под лодкой было не так холодно. Ни ветер, ни брызги туда не долетали. Фима лежал, завёрнутый в мамино пальто, и слушал вой ветра. Время от времени доносились голоса мамы и тёти: «Куда мы едем, Пиня? Немцы уже под Севастополем. Говорят, Новороссийск бомбят. В самое пекло!».

*Нестерпимо-терпкий запах верблюжьего пота пробивается через мешочную ткань, обжигает ноздри. Фима долго морщится и чихает, зажав рот ладонью, чтобы не услышал погонщик.*

Дождь. Грязь. Слякоть. Они сходят с парохода в Новороссийске. Все торопятся, трап раскачивается под ногами, и у Фимы замирает сердце. Сойдя на пристань, они долго блуждают по порту, обходя штабеля шпал, разбитые в щепы доски, огромные воронки, вздыбленные рельсы. В воздухе стоит густой запах резиновой гари и мазута. У Фимы начинает драть в горле.

Наконец, они добираются до зала ожидания железнодорожной станции. Там жарко и душно. На полу, чуть ли не впритык друг к другу, лежат люди, положив под головы мешки, сумки, рюкзаки. Одни поднимают глаза на новоприбывших. Другие спят, накрыв лица газетами.

Проходя вслед за мамой между лежащими на полу, Фима задел край одной газеты. Она сползла, и Фима увидел старика с закрытыми глазами. На его веках лежали медные пятаки. Наверное, старик никак не мог заснуть, вот и положил на глаза монетки, чтобы лучше спалось. Почему мама не догадалась этого сделать, когда в детстве пыталась его баюкать? Было бы интересно. Вместо этого, она пела смешную песенку:

У Ваньки, у Встаньки  
Несчастные няньки.  
Хотят они Ваньку укладывать спать,  
А Ванька не хочет,

Уляжется — вскочит,  
Уляжется снова и вскочит опять.

Они обошли весь зал ожидания, но места, где можно было бы хотя бы присесть, не нашли. Под ногами всё время что-то потрескивало. Фима наклонился и увидел множество крохотных серовато-белесых жучков, от одного вида которых страшно зачесалось всё его тело. Это были его недавние знакомцы. На пароходе они то и дело появлялись на рубашке и в волосах. Мама заставляла его раздеваться, выворачивала швы, где эти жучки прятались. Фиме приходилось переносить мучительную процедуру. Мама достала где-то бутылку с керосином, мочила этой вонючей жидкостью его волосы и частым гребешком вычёсывала их. Помогало это ненадолго. На следующий день жучки появлялись снова.

*Верблюд вдруг зафыркал, издал резкий горловой звук, и остановился. Приблизились голоса погонщиков. Фима сжался. Только б не нашли!.. Но погонщики прошли мимо, в хвост каравана, видимо, подготавливая отстающих.*

Они просидели на вокзальном полу несколько дней и ночей. Время от времени приходили поезда, но никуда не уходили. Те, кто не спал, сидели на чемоданах и узлах и громко решали, на какой из них следует сесть в надежде, что он скоро двинется. Иногда кто-то кричал: «Трогается!», и тогда все толпой, отталкивая друг друга, люди бросались на перрон.

Но каждый раз тревога оказывалась ложной. Паровозы то соединяли вагоны, то разъединяли их, гоняя с одних путей на другие, составляли поезда, которые тем не менее никуда не двигались.

Однажды на перрон прямо перед залом ожидания медленно подполз эшелон. Из него стали выносить раненых солдат. Все долго и молча смотрели на забинтованные головы, руки и ноги. Сквозь бинты нередко проступала кровь. Мама ещё тесней прижала Фиму к себе, зашептала, как делала не раз уже много дней подряд: «*Готеню, готеню!*»

На четвёртый день дядя Пиня велел маме и тёте сидеть с вещами на месте. Он вскинул Фиму на плечо и понёс через пути к сбитому из фанеры домику, похожий на избушку на курьих ножках из сказки о Бабе Яге.



В домике за столом сидел какой-то дядя в фуражке с красным околышем.

— Петя, — сказал дядя Пиня, протягивая руку. — Мы из Одессы. Не мучайте народ. Скажите, на какой эшелон нам садиться, чтоб выскочить отсюда поскорей?

«Петя? — удивился Фима. — Почему дядя Пиня называет себя Петей?»

Но долго удивляться не пришлось. За стеной рядом что-то жакнуло с такой силой, что стенки домика закачались, того гляди, упадут на них. С опозданием завыла сирена. Дядя в красной фуражке полез под стол. У Фимы глаза от удивления чуть не вылезли: взрослый — а сидит под столом, как Фима иногда делал дома, когда хотел, чтобы ему не мешали смотреть книжку с картинками. Дядя Пиня, недолго думая, схватил его и нырнул под другой стол.

Ещё три раза громыхнуло за окном. Домик зашатался так сильно, что Фима зажмурился. Кажется, ещё раз трахнет, и фанерные стенки разлетятся во все стороны.

Но раздался звон, который Фима уже слышал не раз дома, в Одессе. Стучали молотком по подвешенному рельсу. Отбой воздушной тревоги. Дядя в красной фуражке вылез из-под стола.

— Поскорей, Петя, не получится, — сказал он, отряхиваясь, и махнул рукой в сторону окна. — Вон тот состав, на первом пути, через час пойдёт на Нальчик. Но вам туда не надо. Оттуда опять в скорости бежать будете. Вам надо любыми путями попасть к Каспию, к морю. Минуйте Волгу, минуйте пустыню, а там найдёте, куда дальше двигаться. У вас одежды, как вижу, никакой. Так что жмите на юг. В тёплые края, в Среднюю Азию.

Потом сказал, понизив голос и оглядываясь, хотя никого, кроме них с дядей Пиней, в комнате не было:

— Идите на четвёртый путь. Там стоит эшелон. Двинется ровно в двенадцать ночи. Ни раньше, ни позже. Идите аккуратно, спокойно... Не шумите, не кричите, не зовите с собой никого... Кто знает, тот уже пошёл и сел. Кто не знает, сообразит позже. Но чтоб не было паники...

И ещё сказал:

— Садитесь подальше от паровоза. Уголь некрепкий. При забросе будет пылить. Глаза берегите.

Как только они вышли из домика, опять завыла сирена. Они с дядей Пиней залезли под платформу с какими-то чугунными чушками и там переждали налёт.

*Верблюда вдруг резко качнуло в сторону. Фима всполошился. Может, зайца увидел или что ещё померещилось. Верблюды, он их давно в Шурабе изучил, существа жутко нервные и пугливые. Надо же, большие и сильные, а даже зайца боятся! Когда он увидел их в первый раз, вскоре после приезда, он испугался. Страшные чудовища. Когда верблюд из-за чего-нибудь рассердится, то начинает шипеть, и язык у него надувается, как шар. Кричит неприятным — резким горловым — голосом. И зубами скрежещет.*

*Но нет, верблюд, видимо, успокоился и снова зашагал мерным шагом. Фима свернулся калачиком поудобнее и стал опять вспоминать.*

Когда стемнело, они перетасили вещи на четвёртый путь. На нём, однако, не было ни одного вагона, только несколько платформ, наполовину заваленных углём. Дядя Пиня стал подбирать куски досок на путях, достал из своего ящичка ручную пилу и молоток, начал наращивать борта. Потом он с мамой и тётёй устроились поближе к бортам так, чтобы можно было упереться в них ногами. Разровняли уголь, выложили на него всё, что было в чемоданах: пиджаки, простыни, зимние шапки. Фиме велели лечь между мамой и тётёй и привязали к обеим его рукам по верёвке. Сначала он стал вырываться, но ему объяснили: так надо, чтобы не сполз за борт, если поезд рванёт с места.

Стояли ещё долго. Ему хотелось пить. Но воды не было ни у кого. «Потерпи, сынок, — шептала мама, кусая губы, — потерпи».

На платформу начали забираться другие женщины с детьми и старики со старухами. Вскоре вся она оказалось забитой до отказа. Паровоз где-то впереди коротко свистнул, побуксовал на месте некоторое время и, наконец, дёрнулся, покатил. Колёса начали стучать — так-так, так-так, поезд шёл всё быстрее и быстрее, — и Фима провалился в сон.

*Сидеть в сумке долго, не двигаясь, Фиме надоело. Он попытался найти слабое место в мешочной ткани, чтобы можно было проделать дырку и посмотреть наружу. Сначала он стал растягивать мешковину пальцами, но ничего не получилось. Потом вспомнил, что в кармане должен быть самодельный ножик. Однажды он нашёл его у магазина в посёлке, где по карточкам выдавали хлеб и другие продукты. Он никогда с ним не расставался. Только прятал ото всех, чтоб не отобрали.*

*Дырка разочаровала. Всего только и виден был склон горы, подёрнутый зеленоватым пухом молодой травы, и больше ничего.*

Той ночью, которую он провёл лёжа на платформе, на куче угля, вскоре он проснулся от страшного крика. Визжали дети, выли женщины, охали старики. Он до сих пор помнит те жуткие звуки. Народу на платформе набилось много. Когда поезд набрал скорость и стал резко спускаться в долину, один за другим те, кто лежал на угольных хребтах, скатывались вниз, переваливались за борт, летели под откос.

Через какое-то время вокруг снова стало тихо; только громко стучали на стыках колёса, и рядом какая-то женщина испуганно кричала хрипящим голосом в темноту: «Фира! Фирочка! Где ты! Фир-р-а!», а потом долго рыдала.

Вдруг вверху, в залитом луной небе, заревели моторы, и застучало резко и гулко, словно стальными палками по пустому ведру. Это был немецкий самолёт. Ночь, как назло, выпала ясная, звёздная, а спрятаться негде. Все на платформе прижались к бортам, и Фима тоже зажмурился от страха.

Но рёв моторов вскоре пропал. Фима открыл глаза. И луна, и звёзды куда-то тоже девались. Только сильнее прежнего застучали колёса. Эшелон втянулся в горный туннель, и самолёт потерял их из виду.

*Фима попытался осторожно раздвинуть узел, стягивающий сумку, в который сидел. Высоко в небе парил орёл. Время от времени, без всяких усилий, едва шевельнув крылом, он менял направление, словно раздумывал, куда бы ему податься. Фима знал: орёл высматривает внизу добычу — сурка или змею.*

Поезд стоит. В глазах рябит от солнца. С платформы видно море. Он пытается встать, но не может: затекли ноги. Впрочем, и взрослые тоже не могут какое-то время двигаться. Только дядя Пиня, изловчившись, спрыгивает с платформы на здоровую ногу, помогает сойти маме и тёте, у которых ноги тоже подкашиваются. У поезда стоят люди, кто с вёслами в руках, кто с сетями на плечах, показывают на них пальцами и смеются. У мамы, тёти, дяди, у всех, кто ехал на платформе, — лица чёрные, как у негритёнка в фильме «Цирк». Все бегут к воде, начинают мыться.

Большой пароход без трубы называется «баржа». Пароход идёт через Каспийское море, на другую сторону, в Красноводск. Люди с вёслами говорят, что плыть нужно туда. Билетов на «баржу» нет. Но когда спрашивают, откуда они бегут, и выясняется, что из Одессы, их тут же пропускают к трапу. «Ах, — говорят, — конечно, конечно».

Сколько он не силился, не мог припомнить ничего о том, как они плыли на барже, кроме того, что всё время тошнило. Мама то и дело подводила его то к одному борту, то к другому. Крепко-крепко сжимала пальцами виски. Это на время помогало: голова болела меньше.

Добирались до Шураба они ещё долго. С баржи пересаживались на грузовик, потом снова на поезд. Целый день он тащился вдоль пустыни, пока незаметно не оказался снова высоко в горах. Рядом поплыли запорошённые снегом хребты. Словно огромные динозавры, замерли перед прыжком. Фима лежал на полу товарного вагона рядом с мамой. Пол под ним двигался вместе с ним то в одном направлении, то, казалось, в противоположном. У него начался жар. В висках свербело, да так сильно, будто кто-то ввинчивал крючок в самый мозг. Потом вдруг стало прохладно. Жар неожиданно высвободил от боли. Она отпустила виски, но разлилась немочью по всему телу. В такие минуты у Фимы в голове светлело, и он как-то по-особому радовался, что сквозь решётку вагонного окна пробиваются лучи дымного солнца. Из щели в стене бил вкусный морозный воздух, который его ноздри жадно втягивали. Поезд замедлял ход, потом резко, лязгая буферами, останавливался. За стенкой скрипели валенки путевого обходчика, торопящегося по свежеевыпавшему снегу. Где-то под вагонным брюхом постукивали молотком. Фима уже знал — проверяют колёса. Криз прошёл, сказала однажды мама. И он почувствовал разочарование. Хотя его по-прежнему жалеют, по-настоящему за него уже не волнуются. А жаль.

Так прошло ещё несколько дней и ночей. Сквозь бред, сквозь тошноту, сквозь хрип сдавленного дифтерийным удавом горла он добрался до Ташкента. Дотянув до вокзала, паровоз запыхтел что было сил и, словно вздохнув в облегчении, спустил все пары, исчез в облаке собственного производства.

Была ночь. Их выгрузили на перрон. Как и в Новороссийске, шёл дождь. Только на этот раз тёплый. От этого как-то стало спокойней.

Их пересадили на арбу — телегу с высокими решётчатыми бортами, запряжённую маленькими лошадаками с длинными ушами, и долго везли через горные перевалы в Шураб. Лошадки, вскоре он узнал, назывались «ишаками». Спустия какое-то время он решил, что знает, отчего их так называют. Стоило одной из лошадаков закричать, как другие тут же подхватывают и кивают головами. Фиму это

смешило. Казалось, они соглашаются друг с другом, только вместо «Ия!», получается «И а!». Наверно, охрипли. У него тоже, когда от ангины першило в горле, вместо «я» получалось «а».

*Залаяла собака. Фима всполошился. Неужели пришли в какой-то кишлак? Что если кто из погонщиков полезет за чем-нибудь в сумку? Тогда что?*

*Но лай не повторился, и Фима успокоился. Чем дальше дойдут верблюды, тем папа будет ближе. Тем скорее они встретятся, наконец.*

Наконец, на арбе они дотащились до Шураба. Фима вертел головой по сторонам, разглядывая глинобитные мазанки с плоскими крышами, на которых, присев на низкие табуреточки и подперев подбородки ладонями, на них глядели дети в узорчатых шапочках-тюбетейках. Иногда с этих крыш на приезжих, сощурившись, смотрели какие-то узкомордые существа со ссохшимися головами старичков, в которых Фима не сразу распознал обыкновенных коз. Они шевелили губами и трясли в недоумении седыми бородками. «И чего они делают на крыше?» — думал Фима. Верхушки глиняных заборов сверкали на солнце осколками бутылок. Слепили снежные шапки окружающих гор. Соскучившись по солнцу, Фима подставлял ему всё лицо, жмурился, закрывал от удовольствия глаза. Солнце ещё какое-то время плыло перед ними, но уже в виде расплывающихся оранжевых и голубых пятен.

Женщины несли на головах большие плетёные корзины и даже кувшины с водой. Фима сколько потом ни пытался и сам понести что-нибудь на голове, но никак не получалось. Даже лёгкий, без воды, чайник соскальзывал на землю после нескольких шагов.

Их привезли к большому дому. Ссадили с арбы, повели в просторный двор. Впереди шёл какой-то дядя в пиджаке, похоже что, начальник. Во всяком случае, когда вошли во двор, он сказал незнакомым мужчинам в длинных халатах, махнув рукой в сторону прибывших:

— Вот, принимайте выковырянных! То есть... — он глянул в бумажку и прочитал по складам, — Эва-ку-и-ро-ван-ных...

В глубине двора стояли два котла, в которых варился плов. Фиму обволокло сладковато-пряным запахом, таким вкусным, что у него даже стало больно сводить челюсть. Он был измотан дорогой и болезнями. Голова плохо держалась на шее, то и дело валилась на плечо. Он был большеголовый, а тут совсем отошчал.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### ДАМА С СОБАЧКОЙ: АПОКРИФ

*— Как? Как? — спрашивал он [Гуров], хватая себя за голову. — Как?*

*И казалось, что ещё немного — и решение будет найдено, и тогда начнётся новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца ещё далеко-далеко и что самое сложное и трудное только ещё начинается.*

А. П. Чехов, «Дама собачкой»

**Г**уров и Анна Сергеевна, в конце концов, смогли устроить свою жизнь вместе. Далось это не без больших жертв и потерь. Но их любовь была естественна, как море, у которого они встретились впервые, и они переносили все невзгоды стоически. Развод Гурова был тягостный — со сценами в духе Достоевского, с битъём недорогой посуды и с неожиданно прорезавшимся контральто у жены.

— Ди-ми-трий, — гудела она, — тебе, право, не идёт это мальчишество! Какая такая любовь! Какая такая дама с собачкой! Ты просто начитался дурных бульварных романов. У тебя просто-напросто душевный кризис, как у многих мужчин, к которым подкатывает старость. Седина в висках, а ты вешаешь себе на шею какую-то собачку... Ну, даму с собачкой... Какая разница! К тому же, какая уважающая себя дама уводит мужа от живой жены! Ты что же, не мог подождать, пока я умру. Теперь ведь недолго!..

Она поднимала к свету пузырёк с валерьяновой настойкой и вслух отсчитывала капли, иногда захлёбывая начала цифр:

— Осьм-надцать, ...надцать... двадцать!.. Ну, скажи, что она такое умеет, — на её лице возникла презрительная улыбка, — что я не в состоянии, по крайней мере, понять, осмыслить, пропустить через разум.

Гурова охватывал ужас от одной мысли, что он так долго был мужем этой бесчувственной и грубой женщины. От всех этих разговоров его по-настоящему тошнило, и он подумал о том, что, видимо, есть какая-то психосоматическая связь между человеческой речью и физиологической реакцией на неё. Ему казалось, что если он немедленно не выйдет на свежий воздух, то задохнётся в пошлой и бездарной мелодраме, которую разыгрывает жена и в которой она наделила его, не спросившись, ролью злодея.

Когда она заговаривала об А. С., ему тут же хотелось крикнуть: «Не смей говорить о ней!», но сделать этого он не мог. Тошнота и омерзение душили его. Схватив шляпу, он выскакивал из дома и, так и не надев её, несмотря на дождь и ветер, ходил по городу, разговаривая сам с собой, и прохожие принимали его либо за пьяного, либо за актёра, в возбуждении предстоящей премьерой репетирующего свой монолог на улице.

Гуров ходил по Москве и думал о том, что счастье, не пришедшее вовремя, мстит тем, что к нему, этому позднему счастью, липнет, как бумага к сырому мясу, купленному кухаркой на рынке, вся, какая только может найтись, пошлость и мелочность жизни.

Впрочем, вскоре после его ухода жена быстро оправилась от удара и вышла замуж за пышноусого владельца шорной мастерской на Неглинной по фамилии Коренной, по всему видно, никогда не державшего в руках никакой книги, кроме конторской. Она сообщала общим знакомым, отлично зная, что не преминут передать Гурову, что благодарна ему за то, что он увлёкся своей провинциальной дамочкой с какой-то псинкой. С Коренным, говорила она, прикрывая руками покрасневшее лицо, она впервые почувствовала себя настоящей женщиной.

Гуров по-прежнему любил Анну Сергеевну, но постепенно, сам того стыдясь, стал находить раздражающим то, что ему первоначально казалось таким щемяще-уязвимым и так привлекало к Анне Сергеевне: её молодость, неопытность в любви, её наивность и даже некоторая инфантильность. Он понимал, что она была почти вдвое младше его, существом ещё очень молодым, полным тех идеалов, которые были и у него, когда он только вступал во взрослую жизнь. Её нежелание принимать окружающее таким, каким оно есть, волей-неволей заставляло называть её про себя «Дон-Кихоткой».

Гурова всё больше досаждали её бесконечные жалобы на скуку жизни. «Скучно жить на этом свете, господа...» — мог сказать лишь молодой человек, познавший жизнь по её верхнему срезу, по её

эпидермису... Жизнь не может быть сама по себе увлекательна. Предъявлять к ней такие требования так же неразумно, как ожидать, что какая-нибудь горная река или озеро сами по себе разольются фонтанчиками на манер тех, что брызжут в Петергофе или в Версальском саду. Чтоб не быть скучной, жизнь должна быть выстроена по законам развлекательной психологии — с интригующей завязкой, нарастанием конфликта и освобождающим очищением. (Филологическое образование в этих рассуждениях помогло Гурову. Аристотель был бы им доволен, а университетский профессор логики Чертков — просто счастлив.) Но кто, спрашивается в задаче, будет режиссер-постановщик такого увлекательного спектакля и откуда возьмётся сюжет, от которого прямо-таки нельзя оторваться?

Правда состоит в том, рассуждал Гуров, что на всех людей оригинальных сюжетов не напасёшься. А настоящая скука бывает только от безделья. Работа в банке, которую он всегда воспринимал как неизбежное зло и не видел никакого смысла в бесконечных подсчётах и заполнении бумаг красивым почерком, в последнее время стала, к его собственному удивлению, вызывать у него всё больший интерес. Сквозь рядки безликих цифр стало проникать в его сознание, что, в конце концов, финансы — это кровь страны, и оттого, насколько чётко она перекачивается, зависит здоровье родины, а стало быть, он, Гуров, делает нужное и важное дело.

Сердиться на жизнь, на её нелепость, отсутствие логики, на упорное нежелание укладываться в чьи-либо умозрительные схемы, скорее всего, глупо, как неумно сердиться на то, что вот только что в небе пылало солнце, и — вдруг поднялся ветер и хлынул ливень... Жизнь есть жизнь; она ни хорошая и ни плохая. Просто-напросто ворох кое-как прихваченных на живую нитку лоскутков событий самого разного свойства, к тому же нередко разорванных вдоль причинно-временных связей. Надо обладать безумным самомнением, чтобы ожидать от жизни, что она будет заниматься исключительно твоей персоной с задачей непременно досадить или порадовать...

Гуров испытывал также некоторую досаду от того, что его с А. С. интимные отношения со временем несколько прискучили своим однообразием. Он не утратил пылкости своего чувства, но Анна Сергеевна могла запоем читать стихи, часами слушать классическую музыку, рассуждать о возвышенном — то есть, признавала наслаждения духа, но стыдилась собственной страсти, той огромной радости, которую она приносит. К потребностям тела она относилась как к неизбежному злу, как к чему-то низменному, порождён-



ному животной природой человека. Выходило, что, будь её воля, она бы устроила человека по-другому: много сердца, много головы и минимум тела, только в той степени, в какой оно необходимо для поддержания жизни. То, что из этого мог бы получиться в лучшем случае благородный гомункулус, её не заботило. В конце концов, эта была только мечта, а с мечтой полагается обращаться бережно, как с новорождённым котёнком...

Тем не менее, Гуров продолжал любить А. С. и жизни без неё не мыслил. Он уже видел, как год за годом будет стариться вместе с ней, и на душе у него было хоть и немного скучновато, но покойно.

По воскресеньям Гуров встречался попеременно с детьми — то с сыновьями, то с дочерью. На это уходил весь день, единственный выходной. Эти встречи изматывали его душу, выворачивали наизнанку. Дочь держалась холодно и, только иногда хмурясь, спрашивала невпопад, когда он вернётся домой. Её юное сознание никак не могло справиться с резкой переменой в обычном ходе жизни. Хотя она слыла девочкой умной и серьёзной — совсем, как мама, она, как ни старалась, не могла понять, как ещё недавно все в её жизни было просто и ясно, а вот теперь что-то, видимо, случилось с её головой, и она стала плохо понимать простые вещи. Стала даже отставать по математике, по которой у неё всегда были только пятёрки. Ещё совсем недавно всё было так, как всегда. Был папа, была мама, были общие завтраки в столовой, а вечерами — обеды с гостями. А теперь отец живёт где-то на другом краю города с чужой женщиной, чьей-то бывшей женой, хотя у него есть своя жена, а у той женщины — свой муж. У мамы в спальне почему-то ночует какой-то огромный мужчина с мужицкой бородой, от которого несёт скипидаром и грубой кожей, из которой делают конную упряжь. Такое просто не может быть навсегда!

Сыновья были уже почти взрослыми, вот-вот должны были окончить гимназию: Косте оставалось полгода, а младшему Дмитрию — полтора. Как и полагается в их возрасте, уход отца из дома они восприняли болезненно. При встречах с ним держались подчеркнуто вежливо, даже несколько надменно, позволяя себе порой язвительные реплики. Скосив глаза от злости и раздувая ноздри, Костик сказал как-то: «Кстати, как поживает шпиц?» Но видно было, что они страдают. Гуров знал, что иначе он поступить не мог, но полагал, что счастливый отец может дать гораздо больше душевных сил своим детям, чем несчастливый, каким он был, как он теперь понимал, всю свою сорокалетнюю жизнь, пока не встретил А. С. Но

он осознавал, что для детей он навсегда останется отцом, который их оставил, пренебрёг их жизнью. Гуров мучился от этого, понимая, что чувство вины перед детьми — это его крест, какой нести ему до конца жизни. Дети, подумалось ему, — невинные жертвы разводов. Знал бы, что будет так тяжело — не имел бы детей...

Правда, его женили рано, его не спрашивая, и заводить ли ему детей или нет — тоже с ним не советовались. Он в первый раз подумал о том, что от него пошла новая жизнь, и он за неё навсегда в ответе. Он совершил грех — пусть не по своей воле: его женили, не спрашивая, — но грех этот, грех брака с нелюбимой женщиной, видимо, так велик, что ему всю жизнь за него не расплатиться — хоть так, хоть этак.

Между тем, возвращаясь к обеду со службы, он всё чаще стал заставлять Анну Сергеевну грустной. Она нередко плакала, и на вопросы Гурова отвечала, что сама не понимает, что с ней... Однажды она сообщила, что решила съездить в С., чтобы повидаться с единственной тамошной подругой, женой действительного статского советника Незнанова, по которой очень соскучилась.

Анны Сергеевны не было дома две недели. Гуров забеспокоился и отправил письмо на адрес подруги. Вскоре пришёл конверт из С. Анна Сергеевна писала, что случайно, прогуливая перед домом подруги шпица, которого взяла с собой, встретила бывшего мужа, фон Дидерица. Он сильно сдал с того времени, как она его оставила ради Гурова, и она снова почувствовала угрызения совести от того, что разбила жизнь этому, ничем перед ней не провинившемуся, человеку. В конце концов, его раболепие, так в прошлом оскорблявшее её, было результатом безотцовщины, тяжёлого детства, которое он провёл в сиротском доме. Всё-таки надо ему отдать должное, что он не пошёл по дурной дорожке, а стал видным чиновником, и потому достоин, если не любви, то, по крайней мере, уважения.

Увидев её, Дидериц сначала побледнел, а потом, не стесняясь и не вытирая лица платком, заплакал, да так что в городе С. отсырели все, как одна, спички, и в тот вечер ни одна свеча или газовая лампа не могли быть зажжены. Так, общим затемнением, словно скорбя, город С. отметил возвращение Анны Сергеевны.

Она писала также, что вернулась к Дидерицу. Оставить всё, как есть, она не может; её совесть никогда не будет спокойна. Она знает, что он, Гуров, с его доброй душой, согласится с ней в том, что невозможно строить своё счастье на несчастье другого, ни в чём не повинного, человека. Это и несправедливо, негуманно, как ни

посмотри. Писала также, что, хотя она любит только его, Гурова, не уйдёт впредь от Дидерица, пока не найдёт тех нужных добрых слов, которые утешат его, утолят его душевную муку. Больше это сделать некому. Он совсем один на белом свете: единственный брат, вместе с ним осиротевший, служит штаб-офицером на границе с Турцией...

Получив письмо Анны Сергеевны, Гуров немедленно поехал в С. и остановился в той же гостинице и в том же номере, что он снимал в прошлый приезд. На столе была та же чернильница. Но в этот раз он увидел её несколько в другом ракурсе. То, что он прежде принял за обезглавленного всадника со шляпой в руке, оказалось кентавром со вскинутой в победном жесте рукой, держащей лук, видимо, празднуя попадание в цель.

«Для бытовой вещи — вовсе недурно», — подумал Гуров. Он также подумал, что хозяин гостиницы поступил разумно, обтянув пол в номере шинельным сукном. Каблуки дамских туфель и сапог господ офицеров, которые в нём останавливались, не производили шума, и в гостинице благодаря этому было тихо. Видимо, поддерживая тишину, прислуга говорила полушёпотом, что весьма кстати там, где отдыхают люди.

Он направился к дому Дидерица, знакомому по прошлому приезду. Была осень. Пылающий кровавой желток солнца заваливался за горизонт. Серый, утыканный гвоздями забор перед окнами спальни Анны Сергеевны казался выкрашенным в цвет зрелого абрикоса. Гвозди отбрасывали остренькие тени, которые по мере захода солнца, причудливо перекрещивались, складываясь в японские иероглифы. Японского Гуров не знал, но подумал, что надпись, того гляди, — какая-нибудь снисходительно-издевательская, вроде: «Не вешай носа, Гуров!»

«М-да, из этого вышел бы отличный задник сцены для „Гейши“, что шла в прошлый раз», — подумал он.

Гуров загрустил, решив, что последняя его надежда — это увидеть Анну Сергеевну в театре на бенефисе того самого тенора, который пел в памятный вечер предыдущего приезда. А. С., увидев Гурова в театре, снова повела его по лестницам вверх. В коридоре, у входа в амфитеатр, она остановилась и сказала, сжав его руку, что понимает его чувства, но хочет заверить его, что только ощущение вины перед бывшим мужем удерживает её в С. Она просила не сердиться и понять её. Она ещё раз заверила Гурова, что непременно вернётся к нему. Когда это произойдёт, она точно не знает. Знает

только, что время — как известно, великий лекарь, и с его и Божьей помощью всё, в конце концов, будет хорошо.

— Мой милый, хороший Гуров! — говорила она, прижимая к груди его руку. — Я знаю, у тебя большое, доброе сердце. Ты поймёшь, что иначе я поступить не могу.

Гуров расстался с ней, размышляя над тем, достаточных ли размеров его сердце, чтобы отдать Анну Сергеевну Дидерицу, пусть даже на время. А. С. подбирала на улице хромых кошек, воробьёв с перебитыми крыльями. Вот и мышонка Дидерица ей тоже стало жалко. В этом была вся А. С.

Гуров уехал в Москву и постарался жить так, чтобы не размышлять ни о том, что будет с ним и А. С., ни о детях, ни о своей жизни в сколь бы то ни было отдалённом будущем. А думать только о службе, о том, что предстоит сделать не более чем на день вперёд. На первых порах это помогало, но вскоре он почувствовал, что напоминает самому себе слепого, которого однажды встретил на улице и позади которого шёл некоторое время. Тот передвигался, постукивая камышовой палочкой по тротуару, направо и налево от себя, по доскам заборов, по стволам деревьев. Перед тем, как перейти улицу, долго обстукивал цоколь фонарного столба и гранитный бордюр. Гуров поймал себя на том, что и сам начал ходить, ступая с опаской.

Взяв внеочередной отпуск, Гуров поехал по привычке на юг, в Ялту, где некогда, до встречи с А. С., лечил хандру. Там он ходил в гавань, смотрел день-деньской, как разгружают океанские пароходы. Что-то было необычайно приятное, почти чувственное, в том, что перед его глазами мало-помалу высвобождалось нутро огромного лайнера. Однажды из чрева одного грузового судна под датским флагом поплыла вверх, подхваченная холстиной под живот, неуклюже растопырив ноги в воздухе, корова — темно-бордовая, но с большим розовым пятном на морде. Это пятно даже делало корову милостливой. Грузчики в порту дело своё знали, но некоторых из них из-за выпитой натошак водки от жары развезло, и груз нетнет, да и брякался на унавоженную мазутом землю причала. Когда они стали вытягивать откуда-то из-под живота коровы канатные кишочки, она стала боязливо оглядываться по сторонам и, склонив голову, зашевелила губами.

— Ну и чего рот раскрыл, Гуров? Коровы в небе не видал, что ли? Думаешь, с тобой такого не может произойти? — услышал он.

Гуров подумал, что корова, пожалуй, права. Судьба его вот так же приподняла над землёй, а куда опустит и насколько бережно —

неизвестно Он повернулся на каблуках и зашагал прочь. Отыскал по памяти гостиницу, в номере которой когда-то встречался с А. С., и даже не удивился, увидев её в вестибюле. Они поднялись в номер. А. С. объяснила, что здоровье у неё, на нервной, видимо, почве, стало сдавать, снова открылась женская болезнь, и, по совету врачей, она поехала к морю, на грязевые ванны.

Гуров ощутил тяжесть под сердцем. Чтоб подавить нехорошее предчувствие, он подошёл к столику, на котором в ледяной крошке покоился арбуз, и стал разрезать его. А. С. стала тихо, промокая глаза платочком, плакать, говоря чуть слышно: «О, Гуров, что со всеми нами будет!»

«Пусть поплачет, а я пока посижу», — как в бытность, сказал себе Гуров и, усевшись в кресло, не спеша, ломтик за ломтиком, стал есть арбуз.

Постепенно А. С. успокоилась. Слёзы сами собой перестали литься, и глаза стали такими сухими, что пришлось накапать в них лекарства, чтобы избежать конъюнктивита.

Потом они с Гуровым занялись любовью, а покончив с этим, пошли гулять на набережную. Каждый, однако, отправился своим путём. Анна Сергеевна одна со своим шпиритом, а Гуров с тросточкой, поглядывая на проходящих дам, среди которых, к его удивлению, было по-прежнему много молодых и хорошеньких. Он подумал о том, что любовь — пожалуй, довольно обременительная штука, и большую часть его прошлой жизни провидение, щадя его, успешно от неё оберегало. Встретился ему и какой-то элегантно одетый господин с тросточкой, в пенсне, с иссохшим от лёгочной болезни лицом. Гуров совершенно не знал, кто он такой, но почему-то ему захотелось потрепать его по плечу и сказать что-нибудь подбадривающее, вроде: «Ничего, ничего, брат, ещё не такое на белом свете бывает...».

Вдохнув всей грудью свежий морской воздух, Гуров почувствовал, что ему понемногу начинает снова нравиться жить, и, решив на время избегать новых связей, он, потянувшись, сказал почти громко: «Эх, ма! Всё-таки я жив-здоров, и это само по себе невероятное счастье». Ему даже захотелось подпрыгнуть от полноты чувств, но он постеснялся: на набережной было много народу. Белые, голубые, кремовые, палевые, розовые кружевные зонтики дам скрывали лица, но он знал, что ухищряться ненароком взглянуть на одно из них не стоит. Если счастье захочет выбрать его, оно само, подавая знак, приподнимет край зонтика.



**Эмиль ДРЕЙЦЕР** родился в Одессе в 1937 г. Окончил Одесский политехнический институт и Институт журналистского мастерства при Московском Доме журналистов. В 1964–74 гг. под псевдонимом «Эмиль Абрамов» публиковал фельетоны и юморески в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты», «Юности», «Крокодиле», «Известиях», а также в сатирическом киножурнале «Фитиль». В 1970 г. получил специальный приз на всесоюзном конкурсе сатирических рассказов в Одессе. В 1971-м году за фельетон по адресу одного из советских литературных бонз подвергся атаке в центральной прессе, попав в черный список нежелательных авторов. В 1974 г. эмигрировал в США. В 1983 году окончил аспирантуру Кали-

форнийского университета в Лос-Анджелесе. С 1986 г. — профессор русской кафедры колледжа им. Хантера в Нью-Йорке.

Эмиль Дрейцер — лауреат международной литературной премии имени Марка Алданова (2023), автор семнадцати книг художественной, документальной и научной прозы на русском, английском и польском языках. Рассказы и эссе автора печатались в русскоязычных изданиях Америки и в переводе на английский — в американской, британской и канадской периодике. Несколько рассказов воспроизводились в литературных передачах всеамериканской телевизионной компании RTN (Нью-Йорк) и включены в учебники для американских колледжей.

Литературная работа Эмиля Дрейцера неоднократно отмечалась премиями Совета по делам искусств штата Нью-Джерси и грантами Городского университета Нью-Йорка.



Перефразируя известное высказывание Белинского о «Евгении Онегине» Пушкина, книгу Эмиля Дрейцера можно без преувеличения назвать энциклопедией еврейской жизни в советской России. В живых, сдобренных одесским юмором рассказах перед читателем проходит череда многочисленных больших и малых горестей («цорес»), которыми советских евреев «одарило» антисемитское государство и под гнётом которых они родились, росли и должны были как-то существовать. Автор начинает летопись жизни своих героев с раннего детства, ведёт их через трудности — часто непреодолимые — получения образования, выбора специальности, устройства на работу, продвижения по службе.

В семидесятые советские евреи получили от судьбы неожиданный подарок: возможность вырваться в другой мир. Дрейцер убедительно рисует психологический портрет еврейской эмиграции в Америку. В новой жизни, лишённой старых оков, одни не могут найти себя и предаются ностальгическому нытью по прелестям — действительным или воображаемым — своего прошлого. Другие же, с упорством одолевая препоны незнакомой культуры, перестраиваются и находят счастье в осмысленной, любимой деятельности.

Название книги не случайно. Для рассказов Дрейцера характерны чеховские глубина и эпичность в описании, казалось бы, личных бытовых проблем. Читатель временами улавливает и чеховскую грустную интонацию, которая подчёркивает философичность повествования.

— **Константин Кустанович**, заслуженный профессор Университета им. Вандербилта, автор книги «Корни и кроны: Откуда есть пошла русская культура»



ISBN 978-1-960533-57-9



9 781960 533579